



Нати́г РАСУЛЗАДЕ

Народный писатель

(Окончание. Начало в №5-7)

Прошел год со дня смерти матери, он устроил пышные поминки, пышность которых уже диктовалась не столько большой любовью и нежной памятью об усопшей, сколько желанием утереть носы приглашенным, чванством, дешевым высокомерием и тщеславием: на столах, сервированных дорогой посудой на сто человек, такой дорогой, что к ней боязно было притронуться, лежало все вплоть до икры, ананасов и даже экзотических кокосовых орехов, с которыми никто не знал, что делать, как, впрочем, и со всем остальным - не будешь же на поминках тянуться с ножом к ананасу, или аппетитно чистить банан, хотя было все, что душе угодно, всевозможные холодные закуски, так что, грешным делом, на ум невольно приходила мысль о явном отсутствии водки и коньяка, и если б не мусульманские незыблемые правила поминок, то на таком обильном столе спиртное оказалось бы весьма кстати. Важный, высокий чин из мечети, приглашенный за большие деньги, счел своим долгом осудить такое необыкновенное поминальное изобилие, но осудил как-то слишком тонко и вяло, так, что многие даже не поняли - хвалит или осуждает. День, когда устанавливали на кладбище надгробный памятник, выдался промозглым, холодным, сыял мелкий, колючий дождь. У него внезапно перехватило горло, когда он увидел памятник матери, хотя видел его в процессе изготовления уже не раз в мастерской скульптора, но здесь, среди надгробных плит, когда памятник торжественно-медленно занял отведенное ему печальное место, стал на вечное свое поселение, он смотрелся совсем иначе; невыразимо тоскливо сделалось вдруг на душе, он подумал: что это мама вот так, с обнаженной головой, сидит под холодным дождем, и будет сидеть в любую погоду, а он не сможет ничего сделать, не сможет укрыть ее, дать ей тепла, человеческой ласки, на которую, впрочем, и при жизни ее был не очень-то способен. Он еще раз долго поглядел на установленный памятник: скромно поджатые под кресло ноги мамы, словно она боялась помешать кому-то пройти мимо и убрала ноги, руки ее, сложенные на коленях, натруженные, такие родные, чуть склоненная влево голова, без улыбки смотря-

щее лицо. Ему показалось, что смотрит она на него с укором, и тут он, может быть впервые, пронзительно, всем существом своим понял, что мамы нет. Вечером он решил позвонить в Москву брату, о котором до сих пор вспоминал редко, только тогда, когда был подвержен приступам тупой мечтательности; он даже будто не замечал отсутствие брата на поминках матери, благо ни один из родственников не спрашивал его о брате, а сам он считал, что вполне естественно, если у человека важные дела, он может и не приехать на поминки матери. А родные, кстати, на поминках, он вспомнил теперь, как-то странно на него поглядывали, старались не встречаться взглядами, а если встречались, тут же отводили глаза, торопились, если уж вынуждены были говорить с ним, поскорее скомкать, закончить разговор, и было видно, что разговор с ним утомляет их, держит всех в напряжении, и отходя от него, они свободно вздыхали. Он вспомнил это и удивился: отчего? Может, именно из-за брата, не приехавшего на поминки, но разве он мог заставить того приехать? Сам должен был догадаться,

что следует приехать на поминки матери... Разве он слуга брату своему? Но теперь вдруг ему очень сильно захотелось поговорить с родным человеком, поделиться с ним своим горем, рассказать ему о том, как устанавливали сегодня памятник и что он при этом чувствовал, какой мелкий, грустный сыял дождик на кладбище, как он стоял меж могил и вспоминал их с братом детство и молодую маму, которая была красива, здорова и далеко было еще до смерти, так далеко, что это даже казалось невозможным - умереть, а вокруг все было залито ярким солнцем, их приморская дача... Всем этим захотелось поделиться, но с кем он мог поделиться этим, как не с братом? Вечером из дома он набрал по коду московский номер Фуада, на миг удивившись, что не пришлось заглядывать в книжку: так цепко держала его память этот не такой уж важный для него номер телефона. Трубку подняла Маша.

- Але, - сказала она, и у него вдруг непонятно забилось сердце. - Кто говорит?

- Маша, Это я, Азад, - сказал он, все еще чувствуя нарастающее, непос-

тимимое волнение. - Позови моего брата.

Несколько секунд в трубке было тяжелое молчание; пауза, во время которой опешившая Маша соображала, что и как ответить, обозначилась для него вдруг четко, как петля удавки, и он стал примериваться, как шут - сунуть голову, или нет, когда тишина взорвалась ее негодующими возгласами: - Ты ненормальный! Ты болел! Тебе надо лечиться! И никогда больше, никогда, слышишь, никогда не звони сюда! - она бросила трубку, но до того ему послышался как будто встревоженный, незнакомый голос рядом с трубкой, приглушенный, чем-то торопливо интересующийся.

Он положил трубку, пожал плечами. Если брат уже не с Машей, почему же он до сих пор не дал о себе знать? Уехал? Поменял работу, жену, страну?

В дверь позвонили. Он пошел открывать. С недавних пор он превратил свою квартиру, где жили и умерли его родители, в притон для азартных игр, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Под утро, засыпая, крайне утомленный после бурной игры, в которой он как обычно оставался в выигрыше, испытывая противные, острые приступы изжоги от вышитой без закуски водки, он вдруг вспомнил кусочек из их с братом детства, лет тогда было им около семи, на пляже в жаркий день они затеяли возню на горячем песке, стали бороться под ленивые окрики матери; конечно, это он, Азад, был инициатором соревнования. Фуаду через минуту борьба надоела, он же был уже тогда настырным, как черт, и не отставал, не хотел прекращать борьбу, пока не положит брата на лопатки, и как-то так получилось - докатились они, сцепившись, до каких-то железок, торчавших из песка. Фуад, изловчившись, оттолкнул потное, ненавистное, жарко прилипавшее тело брата, не давшему дохнуть, тот упал как раз спиной на эти ржавые железки, сильно поранился, и с тех пор на спине у него глубокий шрам между лопаток, рубцы которого он отчетливо чувствует пальцами.

Так пролетали дни и месяцы, жизнь божемая, постоянный кавардак в квартире, знакомые и незнакомые лица, чувствующую себя как дома, ночные пирушки, шумное веселье в перерывах между игрой, ругань, порой драки, крики и жалобы соседей, игра до потемнения в глазах - такая жизнь вполне устраивала его, он не ударил бы пальцем о палец, чтобы что-то изменить в существующем порядке вещей, вернее, в существующем беспорядке вещей, он ни разу не задумывался о другой жизни, о том, чтобы оступиться, что ему уже под сорок, что в его возрасте почти все нормальные люди имеют семьи, детей, уют в домах, желание ласкать детей, играть с ними, маленькими, и заботиться о них, познать тихие семейные радости - уладу пожилых лет, и так жизнь постепенно, без скачков и резких торможений, или напротив, с потрясениями, большими радостями и печалью, катится к старости, к своему завершению... А если нечто подобное западало иногда в душу его, то он инстинктивно яростно защищался и, чтоб не расслабиться, не поддаться обаянию

БРАТ



успокоительных картинок, возникавших перед глазами, соблазняя другой, неведомой жизнью, яростно строил плотину из отчаянья и презрения в душе своей, и плотина эта в дальнейшем помогала, чтобы ни капли из аморфных, рыхлых, как студень, мечтаний не просочилось в сознание его, не отравляло бы существование, не лишало бы спокойствия.

К нему приходили приятели, которых он всего-то раза два видел, приводили случайных подружек, уединялись с ними, как у себя дома, и через полчаса или час выпроваживали девочек, или же - бывало и так - делились ими с присутствующими, а потом садились за игру. Впрочем, в любой момент, когда ему уж слишком досаждали и появлялось желание остаться одному, он мог выпроводить, а то и вышвырнуть без всяких церемоний любого гостя, не желавшего покидать сей гостеприимный кров. Комплексами кавказского гостеприимства он не страдал.

Однажды пошла крупная игра в нарды, и он начал много выигрывать, везло невероятно, и все уже стали думать, что он специально выкидывает нужное количество очков на костях, что говорится, на языке нардистов - придерживает зары - кости, но он доказал, что нет, играет честно, хотя и мог бы выкидывать на заказ, мухлевать, - просто везло, очень везло. Проигравшись вчистую, партнер его поднялся и, видимо, испытывая неловкость оттого, что продулся в пух и прах, как мальчишка, решил хоть какое-то, но оставить за собой последнее слово, проговорив абсолютно без всякой злости: - Ну и воняет же от тебя! А я-то думал, что же это мне мешает играть...

Он и в самом деле не купался уже довольно длительное время, даже не помнит, сколько, не до того было, залипая в игре ночами напролет, засыпал под утро за столом, отсыпался немножко днем, а там с сумерками снова начиналась веселая жизнь, собиралась компания и снова пошло-поехало. Он поднялся из-за стола, сложил свой выигрыш, положил в карман и сказал своему обидчику: - Да, это правда. Я не успел искупаться. Сейчас я пойду в ванную, и если к моему выходу оттуда ты еще будешь здесь, я тебя выброшу в окно.

Тот не стал так долго дожидаться, и как только хозяин квартиры скрылся в ванной комнате, медленно, с достоинством ушел, ухватив кусочек начинавшегося вслед ему оскорбительного смеха оставшихся.

Когда он, зажмурив глаза, выливал на голову остатки шампуня под душем, вдруг ярко, как вспышка, порхнула перед ним уютная, теплая картинка: он лежит на диване под зеленым торшером, мягкий свет от которого достигает и жены в кресле, то ли штопающей ему носки, то ли что-то вяжущей, в руках у него - зеленый журнал, а на животе лежит зеленый сиамский кот, от которого, делается тепло и животу, и груди, и даже спине. И тут ударом кинжала осветило память, пронзила все его существо кличка - Айхо. Так звали кота - Айхо! Он стоял как оглушенный под льющейся на голову водой, не в силах пошевелиться, будто стоило ему хоть пальцем шевельнуть, и он мог отогнать

что-то очень тонкое, воздушное, что с трудом создавалось в нем... Но через мгновение все прошло, и он разозлился, не понимая, что с ним такое происходит, кто этот человек на диване, читающий журнал, кто его жена в кресле, зачем его память так цепко держит их и услужливо время от времени подкидывает ему, что за всем этим стоит и что с ним творится, если обычные картинки семейного уюта могут так необычайно взволновать его, что он застывает как болван, уж не имеют ли они непосредственное к нему отношение? К сожалению, он мог только задавать вопросы, та часть его души, которая могла бы хоть что-то прояснить, давно была с ним в разладе. Он кое-как домылся, вышел из ванной в халате, с мокрой головой, с волос капала вода, он в рассеянии забыл даже вытереть голову и, не обращая внимания на шумных своих гостей, прилег на диван, намереваясь поспать. Но спать ему не дали. Только он лег, как тут же чьи-то руки бесцеремонно растормошили его, заставили подняться. Он встал, машинально натягивая брюки, слушал, что ему говорили. А говорили ему, что на этот час была назначена разборка по повсду выколачивания для хозяина большой суммы, и теперь на улице их должны дожидаться и надо поторопиться, чтобы не опоздать. Он молча, еще полусонный, вспомнил, сунул на всякий случай за пояс сзади пистолет, кое-как оделся и вышел с непокрытой, еще влажной после душа головой под мокрый снег. Разборка в назначенном месте, на углу двух безлюдных улочек, оказалась на удивление короткой - минут десять - ни до крика или угроз, ни до драки, а тем более, оружия дело не дошло, большую часть денег взяли тут же, остальное договорились собрать на послезавтра, но и этих коротких десяти минут под снегом хватило ему, чтобы простыть, уже через час он стал чихать, выпил стакан водки с перцем, чтобы предупредить простуду, но не помогло, чувствовал сильный озноб, тянуло прилечь, кружилась голова, подскочила температура, а к вечеру вдруг состояние его резко ухудшилось, стало тошнить, рвать непонятно чем, потому что желудок был абсолютно пуст, его буквально выворачивало наизнанку, и необычайная, никогда не ведомая слабость охватила все тело его. Приятели перепугались, вызвали "скорую", врач которой, ничего толком не поняв в состоянии больного, то и дело терявшего сознание, решил, что необходима госпитализация. Один из пьяных приятелей поехал в больницу вместе с ним, уже не приходившим в себя в машине неотложки, и, приехав, стал совать всем деньги, которые охотно брали, но ничто уже не могло помочь - болезнь развивалась стремительно - в больнице его сразу же поместили в реанимационное отделение, где, пробыв трое суток в коматозном состоянии, на четвертые он скончался, день в день и от той же болезни, что и брат его два года назад.

За несколько часов до смерти неожиданно наступило просветление, он пришел в себя, обрел себя, и минуты, подаренные ему судьбой до небытия, посвятил тому, что вспоминал Машу, от которой уехал два года назад.